

Донна Орвин

СЛЕДСТВИЯ САМОСОЗНАНИЯ

Тургенев, Достоевский, Толстой



Современная
западная русистика

«Современная западная русистика» /
«Contemporary Western Rusistika»

Донна Орвин

**Следствия самоосознания.
Тургенев, Достоевский, Толстой**

«Библиороссика»

2007

УДК 82.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Орвин Д.

Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой /
Д. Орвин — «Библиороссика», 2007 — («Современная западная
русистика» / «Contemporary Western Rusistika»)

ISBN 978-5-907532-07-6

Исследовательница русской литературы, профессор русской литературы факультета славистики Университета Торонто Донна Орвин в своей книге о творчестве Ивана Тургенева, Федора Достоевского и Льва Толстого показывает, как эти авторы смогли нащупать некие психологические и идеологические ключи к личности человека и как это позволяет писателям оставаться релевантными нашей жизни и впредь — несмотря на всю свою очевидную субъективность, или, скорее, благодаря ей. Стратегии, к которым прибегали русские литераторы для презентации субъективности, и их внутритекстовое общение друг с другом — основные темы, которые рассматривает автор. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 82.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-907532-07-6

© Орвин Д., 2007
© Библиороссика, 2007

Содержание

От автора	6
Предисловие	8
Глава первая	18
Карамзин	21
Пушкин	24
Лермонтов	27
Тургенев	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Донна Орвин
Следствия самоосознания.
Тургенев, Достоевский, Толстой

Клиффу

*Чужая душа – потемки.
Русская пословица*

Donna Tussing Orwin
Consequences of Consciousness
Turgenev, Dostoevsky, and Tolstoy

Stanford University Press
Stanford; California
2007

Перевод с английского Анны Гродецкой

Научный редактор доктор филологических наук
А. Г. Гродецкая

В оформлении обложки использован фрагмент офорта Натальи Граве «Подросток»



© Donna Tussing Orwin, text, 2007
© Stanford University Press, 2007
© А. Г. Гродецкая, перевод с английского, 2021
© Academic Studies Press, 2021
© Оформление и макет. ООО «Библиороссика», 2022

От автора

Данный проект был щедро поддержан двумя многолетними грантами Исследовательского совета по социальным и гуманитарным наукам Канады (Social Science and Humanities Research Council of Canada, SSHRC). Годичный творческий отпуск, профинансированный Университетом Торонто, позволил мне написать основную часть рукописи. Я благодарна также Славянской библиотеке Хельсинкского университета, где провела плодотворный месяц, исследуя журналы 1840-х годов.

Часть главы 4 этой книги ранее публиковалась в качестве самостоятельной статьи под заглавием «Антифилософская философия Толстого в “Анне Карениной”» («Tolstoy's Antiphilosophical Philosophy in “Anna Karenina”») в книге «Подходы к преподаванию “Анны Карениной” Толстого» («Approaches to Teaching Tolstoy's “Anna Karenina”») под редакцией Лизы Кнапп и Эми Манделкер. Другая, связанная с первой часть той же главы была опубликована на русском языке: «Жанр Платоновых диалогов и творчество Толстого» (Русская литература. 2002. № 1), а третья часть – «Влияние И. С. Тургенева и рассказ Л. Н. Толстого “Утро помещика”» – была издана по-русски в сборнике «Лев Толстой и мировая литература: Материалы IV Международной научной конференции, 22–25 августа 2005» (Ясная Поляна, 2007).

Как свою преподавательскую, так и научную деятельность я рассматриваю в качестве совместного с другими исследователями и преподавателями проекта, чтобы усовершенствовать наше понимание творчества русских классиков и донести его смысл до современного читателя. Обширная библиография свидетельствует, в какой значительной степени я опиралась на работы моих предшественников; кроме того, долгие годы я приобретала знания в беседах с коллегами на многочисленных конференциях, где имела возможность представить собственные научные изыскания. Но подлинным вдохновением для моей работы стало преподавание. Я обязана своим студентам, которые стимулировали мои идеи, заставляли меня развивать и уточнять их, отвечая на замечания и вопросы. Книга писалась долго, и я очень благодарна поддерживавшим меня коллегам и друзьям, что и позволило завершить работу, – это Андрей Донсков, Лидия Дмитриевна Громова-Опульская в ее поздние годы, Кристина Крамер и Робин Фойер Миллер. Мои коллеги из Торонто Кеннет Лэнц, Ральф Линдхейм и Сара Дж. Янг прочитали и прокомментировали рукопись; на более позднем этапе Кэрил Эмерсон отрецензировала ее для издательства Стэнфордского университета и дала мне ценные советы.

Я благодарна также добрым советам и острым глазам редактора рукописи Томаса Финнегана и выпускающего редактора Марьяны Райковой. Ассистент исследования Аркадий Ключанский активно участвовал в процессе редактирования, а Эдит Клайн помогла мне в технических вопросах. Как всегда, мой муж Клиффорд Орвин был моим самым строгим критиком и самой большой поддержкой. Я посвящаю книгу ему.

Для меня было удовольствием и честью при подготовке русского издания снова работать с Анной Гродецкой. Ее перевод сделал книгу лучше, а наши беседы как при согласии, так и при несогласии были познавательными.

Все даты в цитируемых текстах русских авторов приводятся по старому стилю; в тех случаях, когда в них имеется двойная датировка, она воспроизводится.

Все отсылки при цитатах из произведений Тургенева, Достоевского и Толстого даются в примечаниях по соответствующим академическим полным собраниям сочинений и писем – сокращенно, с указанием автора, тома и страницы; для ПССиП Тургенева – с указанием серии (Соч.; Письма), тома и страницы.

Тургенев – Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1978–2019 (изд. продолжается);

Достоевский – Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990;
Толстой – Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. и писем: В 90 т. (Юбилейное). М.; Л.: Худож.
лит., 1928–1958.

Предисловие

Итак, я требую фактов. Учите этих мальчиков и девочек только фактам. В жизни требуются одни факты. Не насаждайте ничего иного и все иное вырывайте с корнем. Ум мыслящего животного можно образовать только при помощи фактов, ничто иное не приносит ему пользы¹.

Несколько лет назад я обнаружила в предисловии к одной из книг Оливера Сакса, что своим уникальным подходом к науке о мозге он был обязан работам русского нейропсихолога Александра Романовича Лурии (1902–1977)². Следуя примеру Лурии, Сакс рассматривал аномальную ошибку восприятия, когда пациент в его кабинете принимал свою жену за шляпу, в качестве дисфункции мозга, способной помочь понять, как в реальности воспринимает мир этот человек. При тоталитарном коммунистическом режиме, когда ценность человеческой индивидуальности равнялась нулю, Лурия работал с пациентами с неврологическими расстройствами, обсуждая с ними их травмы и воспринимая их пояснения всерьез. (В одном случае, сведения о котором он в итоге опубликовал, он в течение двух десятилетий работал с неким Л. Засецким, получившим пулевое ранение в голову во время Второй мировой войны, которое серьезно травмировало его головной мозг; при этом сам Засецкий был готов описывать и изучать последствия травмы³.) В юности, в годы учебы в Казанском университете, Лурия восставал против описательной психологии XIX века, находя ее недостаточно научной; с настойчивостью он относился и к редуccionистским идеям таких догматически мыслящих психофизиологов, как В. М. Бехтерев и И. П. Павлов, которые «не допускали субъективности в психологии – не допускали в психологии *психеи* — и настаивали на объективистском рефлексологическом подходе»⁴. Открытия Фрейда и теории психоанализа помогли Лурии найти выход из этого кризиса, поскольку Фрейд объединил биологический подход с «узаконением субъективного во всем его богатстве, как подлинный объект науки»⁵. Первая книга Лурии «Основы практической психологии», написанная в 1922 году в Казани и оставшаяся неопубликованной, была посвящена психоанализу; другой своей книгой – «Природа человеческих конфликтов» (1928–1929) – он возмутил Павлова, так как, по словам последнего, «описывал поведение в целом», вместо того чтобы редуцировать его до «простейших составляющих».

Со своими «антипавловскими» и «антисоветскими» методами, Лурия в течение следующих двух десятилетий смог издать очень немного. Тем не менее свой расширенный подход он применил в клинической практике и научных исследованиях, результаты которых изменили его трактовку связанных с мозгом заболеваний, и начал публиковать эти результаты в относительно более свободной атмосфере после Второй мировой войны⁶. Собственный подход он

¹ Мистер Грэдграинд излагает факты так, как их видит «тяжелый человек», в начальном фрагменте романа Диккенса «Тяжелые времена» (1854). Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. Т. 19. М.: ГИХЛ, 1960. С. 7

² См. предисловие А. Лурии к книге О. Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» (The Man Who Mistook His Wife for a Hat. New York: Simon and Schuster, 1985. P. 3–7; впервые издана в 1970 году). Другую свою книгу – «Нога как точка опоры» (A Leg to Stand On. New York: Harper and Row, 1984) – Сакс посвятил Лурии.

³ См. Luria A. R. The Man with a Shattered World: The History of a Brain Wound / Transl. by Lynn Solotaroff. New York: Basic Books, 1972. Ср. Лурия А. Р. Потерянный и возвращенный мир: История одного ранения. М.: Алгоритм, 2017. В другой книге – «Ум мнемониста» (Luria A. R. The Mind of a Mnemonist / transl. by Lynn Solotaroff. New York: Basic Books, 1968) – Лурия рассказывает о продолжавшемся более 30 лет исследовании человека, чья память «не имела отчетливых границ» (Р. 11).

⁴ См. Sacks O. Luria and «Romantic Science» // Contemporary Neuropsychology and the Legacy of Luria / Ed. by Elkhonon Goldberg. Mahwah, NJ: Erlbaum, 1990. P. 187.

⁵ Ibid. P. 188.

⁶ Ibid. P. 182.

назвал «романтической наукой», которую Сакс, поддержанный Лурией в личной переписке 1973–1977 годов, посчитал ценным дополнением для западной нейропсихологии⁷.

Сам Фрейд испытал влияние русской литературы XIX века, и особенно произведений Достоевского, о котором написал известную статью, до сих пор вызывающую споры. Лурия, конечно, знал об этом влиянии. В автобиографии, где он рассказывает о своем юношеском увлечении Фрейдом и о психоаналитическом кружке, созданном им в Казани, он упоминает «интересный» факт: внучка Достоевского была его пациенткой в психоаналитической клинике при Казанском университете, и он «заполнял целые тетради ее “свободными ассоциациями”», чтобы позднее использовать эти материалы «для обнаружения “конкретной реальности потока идей”»⁸. Лурия рассказывает также, насколько сильное впечатление на него произвели в юности книги Уильяма Джеймса, особенно «Многообразие религиозного опыта» (впервые опубликована в 1902 году)⁹. Джеймс, отец которого был сведенборгианцем, вырос в среде трансценденталистов Новой Англии и являл собой более раннюю версию ученого-романтика, пытавшегося сохранить в психологии «психею». В 1896 году Джеймс писал другу о своем восторге от «Войны и мира» и «Анны Карениной»:

В течение прошлого месяца я прочитал только два великих романа Толстого, за чтение которых, странно сказать, я никогда прежде не брался. Мне не нравятся его фатализм и полупессимизм, но безошибочной достоверностью в понимании природы человека и абсолютной простотой метода он превращает в детей всех прочих авторов романов и пьес¹⁰.

Достоинством Толстого Джеймс считал его способность «свидетельствовать о ценности жизни, открывающейся свободной, ничем не ограниченной симпатии»¹¹. Он имел в виду, что написанное Толстым укрепляет доверие личности к основополагающим представлениям о себе. Толстой и Джеймс – один в искусстве, другой в науке – защищали человеческую субъективность в противостоянии тем научным методам, которые ее значения не признавали. Для Лурии, возможно, не остался незамеченным интерес Джеймса к Толстому. В любом случае его тяготение к Джеймсу говорит о возможной связи между ранними наставниками Лурии в романтической науке и русской классической психологической прозой¹².

Меня чрезвычайно поразила в предисловиях и других текстах Сакса очевидность влияния, пусть косвенного, русской литературы на западную науку, особенно потому, что его случай напоминал мой собственный. Хотя я, американская студентка в штате Мэн, в то время и не осознавала этого, русская литература привлекала меня отчасти сходством с трансцендентализмом Новой Англии, который находит путь доступа к священному во внутренней жизни каждого человека. Лурия не был трансценденталистом¹³, как не были ими Фрейд и Джеймс, но все трое связаны с трансцендентализмом через свою романтическую науку – этот термин Лурия заимствовал у немецкого физиолога Макса Ферворна¹⁴. Первые ученые-романтики испытали влияние немецких предромантиков, таких, как Гердер, Новалис и Гёте, и через них были связаны с попытками немецкой натурфилософии защитить субъективность, личностность от идей

⁷ Ibid.

⁸ См. Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография / Ред. Е. Д. Хомская. М.: МГУ, 1982. С. И.

⁹ Там же. С. 12–13.

¹⁰ Письмо Уильяма Джеймса к Шарлю Ренувье от 4 августа 1896 года; цит. по: P. R. Barton. The Thought and Character of William James: In 2 vols. Vol. 1. Boston: Little, Brown, 1935. P. 709.

¹¹ Ibid. Vol. 2. P. 273 («...testifying to the worth of life as revealed to an emancipated sympathy»).

¹² О восприятии У. Джеймса в России см. William James in Russian Culture / Ed. by J. D. Grossman and R. Rischin. Lanham, MD: Lexington Books, 2003.

¹³ Он подчеркивал это в своей личной переписке с Саксом (см. Sacks O. Luria and «Romantic Science». P. 191).

¹⁴ Ibid. P. 182.

материализма¹⁵. Американский трансцендентализм, имевший непосредственное отношение к обстоятельствам развития американского пуританизма, усложнил и до некоторой степени противопоставил себя классическому либерализму американского образца и тем самым значительно обогатил американскую культуру¹⁶. В России, где не было сложившейся традиции либерализма, собственная версия трансцендентализма, возникавшая в то же время, что и в Новой Англии, в 1830-х, отстаивала неприкосновенность и святость индивидуальности, как никогда прежде в русской культуре.

Я начинаю литературоведческую книгу с личной точки отсчета как дань предмету исследования – субъективность, личностность и ее утверждение в русском психологическом реализме середины XIX века. Под субъективностью я понимаю явления, которые мистер Грэдграйнд (пока не получил заслуженное наказание в романе Диккенса) не воспринял бы как реальные: внутреннюю жизнь и внутренний опыт каждого индивидуума. Кто бы ни был читателем этого предисловия, он, скорее всего, любит русскую классическую психологическую прозу, и мы можем спросить себя, почему это по-прежнему так. Для русских это прежде всего вопрос культурной самоидентификации: чтобы понять себя в современном бытии и заново самоопределились после падения советского режима, они должны найти новые пути сближения с теми выдающимися писателями, чьи произведения имели огромное политическое и социальное влияние на историю их страны. (Это относится к таким мастерам, как Толстой и Тургенев, которых в Советском Союзе канонизировали, но также и к тем авторам, которыми пренебрегали или замалчивали их.) Читателей не из России, не имеющих этого насущного национального императива, русские прозаики XIX века продолжают привлекать по той причине, что они внесли значительный вклад в современную психологию и ее отображение в искусстве. Сказанное русским критиком Д. С. Мирским в 1920-х до сих пор не утратило значения: «...сочувственное отношение к человеку, независимо не только от его классовой принадлежности, но и от его моральной значимости, стало основной чертой русского реализма. Люди не хороши и не плохи; они только более или менее несчастны и заслуживают сочувствия – это можно считать формулой всех русских романистов, от Тургенева до Чехова. Это-то Европа и восприняла как откровение этих писателей человечеству, когда они впервые открылись Западу»¹⁷. В книге, которую вы будете читать, рассматриваются идеи, лежащие в основе этого откровения, и формы их художественного воплощения в прозе авторов русской психологической школы. Взятые отдельно от произведений литературы, которые ими вдохновлялись, эти идеи кажутся сегодня столь же актуальными, как и в середине XIX века.

Не пытаясь представить анализ произведений многих писателей для демонстрации этих идей, я в основном сосредотачиваю внимание на трех величайших прозаиках своего времени: И. С. Тургеневе, Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом¹⁸. Я прослеживаю «бумажный» след их контактов, который дает возможность проанализировать, как каждый из них воспринимал двух других и какие достижения двух других использовал в своем творчестве. Их коммуникации иногда происходят напрямую, однако, как правило, мы имеем лишь косвенные свидетельства – иногда в виде комментариев, скрытых внутри художественных текстов, и чаще всего, хотя и не всегда, в ранних произведениях, в которых только формировались индивидуальные авторские голоса. Всех троих связывают занимавшие их проблемы человеческой психики, но не

¹⁵ См. Halliwell Martin. *Romantic Science and the Experience of Self: Transatlantic Crosscurrents from William James to Oliver Sacks*. Studies in European Cultural Transition: Vol. 2. Aldershot, England: Ashgate, 1999. P. 19.

¹⁶ См., например: Cavell Stanley: 1) *The Senses of Walden*. New York: Viking Press, 1972; 2) *The New Yet Unapproachable America: Lectures After Emerson After Wittgenstein*. Albuquerque, NM: Living Batch Press, 1989.

¹⁷ Святополк-Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. Новосибирск: Свинья и сыновья, 2014. С. 273.

¹⁸ В главе 4 я отступаю от диалога трех авторов, чтобы рассмотреть диалог Достоевского с романтиком В. Ф. Одоевским; в главе 8 я обращаюсь к творчеству Ч. Диккенса.

конкретные решения этих проблем, которые часто расходились. Триангуляция – своего рода перекрестный анализ – позволяет получить если не полную, то достаточно сложную картину формационного этапа русской культурной истории. Она позволяет также по-новому прочитать малоизвестные произведения всех трех авторов и по-новому осмыслить их шедевры.

При таком обширном предмете исследования моя задача состояла также в том, чтобы сказать об этом предмете то сущностно важное, что останется авторитетным применительно к конкретным текстам. Меня в большей степени интересуют идеи, но, уделяя должное внимание и идеям, и динамике любого художественного текста, я раскрываю специфику этих идей, используя метод детального анализа текста – метод медленного чтения. Эта книга возникла из серии выпускных семинаров, и я старалась выдержать баланс между обобщением, презентацией общего фона и детальным анализом текста со всеми характерными для каждого метода особенностями. Надеюсь, что читатели (как мои студенты) станут активными участниками предложенных в книге прочтений конкретных текстов, которые послужат проверкой достоверности и убедительности идей. Я не жду при этом, что все мои читатели окажутся экспертами в данной области: идеи, которые я рассматриваю, имеют общий интерес, они должны способствовать осмыслению текстов, они же позволят читателям судить об их пользе для себя. Кроме того, думая о читателях-неспециалистах, я начинаю книгу с главы общего содержания, создающей основу для детального анализа в последующих главах.

Русский реализм обычно принято понимать как реакцию на романтизм, хотя в научной литературе было отмечено и то явление, которое Дональд Фангер назвал романтическим реализмом¹⁹. Фангер не относит к числу симптомов этого романтизма повышенный психологизм русских реалистов, а Л. Я. Гинзбург видит в их интересе к психологии научную и, следовательно, реалистическую основу. Хотя Гинзбург была одним из моих вдохновителей в работе над этой книгой и я согласна с ней в том, что русские реалисты к вопросам человеческой психики подходили аналитически, только научностью не объяснить их неизменного признания ценности личностного начала, что обычно рассматривают в качестве романтического признака. Это связано с немецкими философскими корнями новой русской культуры, развивавшейся под влиянием Гегеля и его многочисленных последователей. Русские писатели – даже те, кто отрицал гегелевский рационализм, отдавая предпочтение «позитивной реальности» дорациональных ощущений Шеллинга, – свои идеи структурно оформляли в соответствии с гегелевской диалектикой тезиса, антитезиса и синтеза²⁰. Это было верно и для представителей психологического реализма, строивших свои произведения как конфликт противоположностей – преимущественно на оппозиции внутреннего (субъективного) и внешнего (объективного) миров. Взаимодействие двух этих миров, а не романтическое предпочтение первого второму было центральной темой реалистической школы в России, особенно потому, что ее величайшие представители не рассматривали субъективность как заблуждение. Они считали ее «действительной»; реальность субъективности – базовый принцип всех великих творений русского психологического реализма.

Почему это так? Как объясняет Карл Лёвит, русские мыслители, например Иван Киреевский, не ограниченные, подобно мыслителям Запада, многовековой зависимостью от догматической философии, выдвигали идею «полного и цельного отношения духовной личности к действительности» и в этом противостояли разрыву в гегелевской мысли между аналитическим разумом и «действительным» чувственно-эмоциональным материалом, который, оче-

¹⁹ См. Fanger D. *Dostoevsky and Romantic Realism: A Study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens, and Gogol*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.

²⁰ Размышляя, например, в 1870 году в статье «Литературная деятельность А. И. Герцена» о значении Гегеля в России, Н. Н. Страхов отметил, что из всех его идей наибольшее значение имела диалектика (Страхов Н. Н. *Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки*. 3-е изд. СПб., 1897. Кн. 2. Репринт: Hague, Paris: Mouton, 1969. С. 58–59). См. также Чижевский Д. С. *Гегель в России*. СПб.: Наука, 2007. С. 240–250.

видно, является основой для работы разума и тем самым его легитимизирует: «...мышление, которое вместо того, чтобы двигаться дальше к себе самому, прерывается созерцанием, ощущением и страстью, способно также и теоретически постичь то, что является “действительностью”». На определенном этапе развития философской мысли XIX века, по мнению Лёвита, «славяне» осознали и начали артикулировать эту динамику рационального и эмоционального лучше, чем кто-либо другой²¹. Дорациональный материал ощущений и эмоций, который имеет в виду Лёвит, является субстанцией субъективности; это ускользающая цель, которую разум никогда не может настигнуть, но никогда не перестает преследовать, – она становится неотъемлемой реальностью русского реализма.

В главе 1 я исследую, как и почему русские писатели прежде всего обратились к преследованию. Прежде чем приступить к анализу собственной психологической «действительности», им необходимо было выйти из сферы спонтанности, внутри которой эта действительность, судя по всему, и существует. В книге я придерживаюсь мнения, что возникшему осознанию «я» и его следствиям русская психологическая проза обязана как своими формальными особенностями, так и одной из принципиальных тем. Я ограничиваюсь лишь одним объяснением этого сложного процесса, а именно его иностранными источниками. Для большинства европейцев русская литература с ее необычной точкой зрения явилась в середине XIX века, казалось бы, из ниоткуда. На самом деле почва для ее эффектного выхода на мировую сцену готовилась более века. Французская и немецкая мысль интересовала русских с начала XVIII века, большое значение начиная с 1760-х и до 1820-х имело масонство. В философских центрах Германии русские стали впервые появляться в относительно большом количестве в 1830-х, но уже через поколение в развитии литературы Россия опередила Европу. В этой главе прослеживается, как русская проза обратилась к изображению следствий воздействия на личность иностранной культуры.

В главах 2, 3 и 4 речь идет о том, как русские авторы создавали повествовательные стратегии для презентации субъективности, не преуменьшая при этом ее значения. Я начинаю с Тургенева, который чаще всего формулирует те проблемы, решение которых предлагают двое других. Тургенев берет субъективность под защиту, отказываясь не только анализировать под определенным углом зрения поступки своих персонажей, но и открыто исследовать их внутреннюю жизнь, – я рассматриваю причины подобного умолчания и его следствия для эстетики писателя. И напротив, Достоевский и Толстой, что часто смущало и тревожило Тургенева, погружались в темные глубины этого предмета. Тем не менее вопреки тревогам Тургенева оба они оказались способны как признать значение субъективности, так и дистанцироваться от нее – даже в тех случаях, когда резко и открыто вторгаются в действие. Достоевский, в частности, не склонен к той степени вмешательства, какую предполагают психологические детали в его художественных текстах, однако автор продуманно действует за кулисами, направляя читателя к определенным выводам, недоступным ни одному из его персонажей. О том, как он это делает, речь идет в главе 3. Если Достоевский как автор предпочитает работать за кулисами, то Толстой свое открытое присутствие демонстрирует таким способом, который тоже может ввести в заблуждение. Вопреки первым впечатлениям и даже вопреки собственной риторике Толстой также ограничивал в своей прозе роль и власть авторского голоса. В главе 4 я рассматриваю развитие его повествовательной техники в целях решения этой задачи, сначала под влиянием Платона и его диалогов, а затем Тургенева, начиная в последнем случае с появления в 1852 году «Записок охотника». Я отстаиваю точку зрения, что среди прочих вызовов, предъявленных Толстому первой книгой Тургенева, был смелый реализм, защищавший сложность лич-

²¹ Лёвит Карл. От Гегеля к Ницше: Революционный перелом в мышлении XIX века. Маркс и Кьеркегор / Пер. с нем. К. Лощевского; ред. М. Ермаковой и Г. Шапошниковой. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 273–274.

ностного начала в человеке, что Толстой к тому времени уже осознал в теории, хотя еще не мог реализовать на практике.

Личность в понимании русской философской мысли не равна индивидуальности – это предмет исследования в главах 5 и 6. Качество, совершенно не свойственное русским, как считает Н. А. Бердяев, это буржуазность²². Он имеет в виду, что русские не способны быть ни рациональными, ни самодостаточными. Идею индивидуализма русские заимствовали на Западе, но ни один из них не был способен воспринять картезианскую модель души, согласно которой она одновременно и самодостаточна, и является источником всех смыслов и целей. Никто в России не может быть индивидуалистом, поэтому здесь и не возникло, несмотря на популярность шедевра Даниэля Дефо, сравнимой с «Робинзоном Крузо» фантазии о полной личностной независимости. Признавая существование в собственной культуре сильной и даже анархистской воли, авторы русской психологической школы тем не менее с настороженностью относились к тому типу индивидуализма, который часто ценится романтизмом, и, хотя все они приняли его в той или иной форме, раскрытию его темных сторон они уделяли больше внимания, чем писатели, принадлежавшие к другим культурным традициям. Они стремились, кроме того, к преодолению разными способами его ограничений. Даже такой пылкий индивидуалист, как А. И. Герцен, предпочитал общинную жизнь жизни, основанной на договоренностях между индивидуумами²³. Мартин Малиа утверждает, что Герцен разделял идеи раннего социализма потому, что «акцент на “коллективном” был простым выражением требования о праве *всех* людей стать совершенными человеческими существами»²⁴, но я буду придерживаться мнения, что русский индивидуализм по самой своей природе нуждается в поддержке извне, вследствие чего даже Герцен стал сторонником общинных идей. Достоевский выступал сторонником как идеи православия, так и идеи русского национализма в качестве противоядия тем явлениям, которые сделали больной современную русскую душу.

Толстой в конечном счете выступил с призывом к организации жизни на общих кантианских принципах, утверждавших ценность индивидуумов, но не их привилегированность. Русское «я» в понимании этих писателей по своей природе социально, а не индивидуалистично, и обоснование такой позиции дает ценную поправку к современным установкам.

Индивидуальное «я», каким оно явилось в 1840-х в произведениях Тургенева и Достоевского, не было похоже на обезьяноподобного человека из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: космическая одиссея» (1968), который, в первый раз встав на ноги, триумфально бросает кость в небо, демонстрируя свою новообретенную власть. Индивидуальность, представшая в образе Макара Девушкина в «Бедных людях» Достоевского (1846), переживает свое одиночество и несовершенство. В отличие от гоголевского Акакия Акакиевича («Шинель», 1842), чьим наследником Макар Девушкин является, он в большей степени озабочен сознанием собственного достоинства, чем материальными потребностями, и в отличие от Акакия Акакиевича стыдится своего низкого социального положения и даже своей неспособности выразить себя. (Он читает «Шинель» и с негодованием принимает ее содержание на свой счет.) Наделяя таким образом Девушкина самосознанием, Достоевский делает его психологически более сложным и более близким читателю и повествователю, нежели другие персонажи русской школы сентиментального натурализма 1840-х, лучшим порождением которой являются «Бедные люди».

Макар Девушкин в большей степени обладает чувством собственного достоинства, чем Башмачкин, но он почти так же жалок – отсюда его причиняющая боль самоидентификация с гоголевским персонажем. Спустя два года после появления повести Достоевского и, вероятно,

²² См. Бердяев Н. А.: 1) Русская идея. Paris: YMCA-PRESS, 1971. С. 7, 54; 2) Судьба России. М.: Сов. писатель, 1990. С. 19.

²³ О рыцарском индивидуализме Герцена см. Malia Martin. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism: 1812–1855. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961.

²⁴ Ibid. P. 112–113.

под ее влиянием Тургенев начал писать «Дневник лишнего человека» (издан в 1850 году). «Лишний человек» – термин, созданный Тургеневым в качестве определения для сложившегося типа русского дворянина XIX века, утратившего связь в равной степени и с традицией, и с природой, – остается близким и сегодняшнему читателю. Чулкатурин, герой «Дневника лишнего человека», представил современного человека таким, каким в русской огранке он явился впервые. Как у подростка, освобождающегося от детских зависимостей, у него сильная, однако негативная самоидентификация: себя он определяет через то, чем не является и чего не имеет. В отличие от подростка, однако, у этой русской индивидуальности, возникшей во все еще крайне несовременной среде, нет ни своей возрастной группы, ни социальных институтов, способных поддержать ее переход к взрослой жизни. Он одинок, но хочет общения; он лишен чувства собственного достоинства, но отчаянно жаждет его; у него нет ни семьи, ни друзей, и в этой ситуации он вынужден предпочесть излагать свою историю в дневнике, а не в письмах, и мы не представляем, кто, на его взгляд, мог бы быть его читателем. У него нет потребности в утешении религией; зная о своей обреченности на смерть и действительно умирая от чахотки и оставляя записи в дневнике, лишний человек живет без Бога и сознает свою чуждость природе, которая поддерживает только молодых и здоровых.

Фамилия Чулкатурин, имеющая отношение к слову «чулок», связывает его с гоголевским жалким чиновником Акакием Акакиевичем, чья фамилия Башмачкин происходит от слова «башмак». Не являясь чиновником низшего разряда (как Башмачкин и Девушкин), Чулкатурин – простой служащий невысокого ранга и вызывающий жалость и сочувствие аутсайдер. Хотя его социальное положение, как всегда у Тургенева, имеет значение, он становится неудачником не по этой причине, а из-за своего характера. Он рассказывает «повесть» о том, как уступил девушку сопернику, принадлежавшему к тому же социальному классу, что и он, однако в социальном отношении более ловкому. В то время как Чулкатурин сначала находится в замешательстве, а потом глупо не сдерживает раздражения в отношениях с князем, который ухаживает за Лизой, а позднее бросит ее, Бизьмёнков, находившийся в начале повести в том же положении, что и Чулкатурин, держится скромно, правильно ведет свою роль и в конце утешает разочарованную Лизу. Чулкатурин, в противоположность ему, попадает во все западни, которые избыточная рефлексия расставляет для любого продолжительного волевого усилия.

В этом персонаже, как и в родственных ему в прозе Тургенева, «решимости природный цвет / хиреет под налетом мысли бледным»²⁵, рефлексия лишает его мужественности и делает трусом (ср.: «Так трусами нас делает раздумье...»²⁶). Тургенев видел предшественника своих «лишних людей» в Гамлете; один из них, появляющийся в «Записках охотника», назван Гамлетом в заглавии рассказа; Тургеневу также принадлежит и имевшая значительное влияние статья «Гамлет и Дон Кихот» (1860). Но он и его современники приписали психологическую болезнь избыточного осознания «я» тому, что они называли «рефлексией». В 5-й главе я рассматриваю в качестве философской основы романтического томления «желание цельности» Декарта. Рефлексия является еще одним следствием картезианской мысли, с ней связанным, характеризующим психику современного человека и с худшей, и, как мы увидим, с лучшей стороны. Вне рефлексии невозможны ни романтическое томление, ни любого рода самоосознание, вне рефлексии человек оказался бы неспособен к осмыслению собственных мыслей и действий. Как я демонстрирую в 7-й главе, рефлексия становится важнейшим инструментом в создании психологической прозы.

В 8-й главе книги исследуется тема детства и внимание к ней русского реализма, что связано с защитой как нравственности, так и субъективности. Несмотря на то что акцент на

²⁵ «Гамлет». Акт 3. Сцена 1. Пер. М. Лозинского.

²⁶ Там же. Ср. перевод Б. Пастернака: «Так всех нас в трусов превращает мысль / и вянет, как цветок, решимость наша / в бесплодье умственного тупика».

детстве едва ли поразит оригинальностью сегодняшних читателей, для России XIX века это было явлением практически беспрецедентным. И Толстой, и Достоевский своим вниманием к теме детства были обязаны Диккенсу и его портретам детей, и я специально останавливаюсь на этом вопросе; но у каждого из них были и свои причины для обращения к этой теме. Оба воспринимали детство как уникальный жизненный этап, когда личность еще не подвержена социальным искажениям. Если люди рождаются добродетельными и лишь позднее человеческая природа искажается воспитанием, как считал Жан-Жак Руссо, наиболее веско заявивший об этом в «Эмиле» (1762), как, впрочем, и в других своих трудах, то мы получаем возможность наблюдать в детях и природное совершенство, и его исчезновение. И именно это авторы молодой страны России были намерены изображать. Создателей русской классической психологической прозы отличает от их наследников в XX веке свойственная всем им вера в стремление людей быть добродетельными даже тогда, когда они таковыми быть не могут. В этом отношении все они были учениками Руссо; даже Достоевский, оказавший влияние на Ницше, не мог бы тем не менее следовать его философии «по ту сторону добра и зла».

Но если авторы русской психологической прозы и не принимали зла, они не отрицали его существования, и никто из них, даже Толстой, не возлагал ответственность за зло только на общество. Зло имеет психологическую природу – и это предмет рассмотрения в 9-й главе, где я сопоставляю трактовку зла в произведениях Толстого и Достоевского. Как у английских и немецких романтиков, зло связано с отчуждающими эффектами осознания «я»²⁷, которые Достоевский исследовал более глубоко, чем кто-либо из его предшественников.

Родители новосозданной русской личности были серьезно озабочены ее будущим. Свобода соблазнительна, но высока цена, которую приходится за нее платить, если иметь в виду сопутствующие ей отчуждение и страх одинокой смерти. Обретение этих истин приходит через страдание, – действительно, первые западные читатели часто жаловались, что русские писатели как будто конкурируют друг с другом, создавая самые мрачные сюжеты и самые несчастливые финалы²⁸. В «Анне Карениной» Толстой, обобщая, приводит типичную развязку английского романа: «Герой романа уже начал достигать своего английского счастья, баронетства и имени...»²⁹

Отличие от типового английского романа, который в данном случае пародирует Толстой, в лучших русских повестях и романах идею материальной самодостаточности заменяет потребность в обретении смысла или внешней опоры – к этой цели стремятся герои. Поначалу западные читатели не поняли отказа русских авторов от задачи художественной реализации идеи самодостаточности (или неудачи в ее достижении) и поэтому восприняли русские романы как структурно не организованные – Генри Джеймс назвал их «бесформенными мешковатыми монстрами» («loose baggy monsters»)³⁰. Какими бы бессюжетными ни казались они первым западным читателям, эти монстры скоро заняли заметное место на их книжных полках. И случилось это потому, что в них читателю открылись те психологические проблемы, о которых счастливые финалы позволяют забыть только на время. Мы просыпаемся от подобных фантазий, по-прежнему оставаясь во власти своих проблем, тогда как после чтения русских романов,

²⁷ См., например, в «Ideen zu einer Philosophie der Natur» (1797) Ф. Шеллинга: «Чистая рефлексия поэтому есть духовная болезнь <...> она – зло» («Pure reflection therefore, is a spiritual sickness <...> it is an evil»; цит. по: Abrams M. H. *Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature*. New York: Norton, 1971. P. 219) – но в дальнейших рассуждениях Шеллинга это зло выступает необходимым этапом в процессе возвращения к единству.

²⁸ См. суждения Уильяма Джеймса об «Анне Карениной», процитированные выше. «Фатализм» и «полупессимизм» Толстого и его «безошибочная достоверность в понимании природы человека», безусловно, связаны между собой.

²⁹ «Анна Каренина». Ч. 1. Гл. 29 (Толстой. Т. 18. С. 107).

³⁰ Цитата из предисловия Генри Джеймса к «Трагической музе» (1890). См. James H. *The Tragic Muse*. Preface. New York: Scribner, 1908. P. X. Перси Лаббок, исследователь творчества Джеймса, эту точку зрения излагает в посвященной «Войне и миру» главе в монографии «Ремесло беллетристики», впервые изданной в 1926 году. См. Lubbock P. *The Craft of Fiction*. New York: Viking Press, 1957. P. 39–42.

таких, как «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы», возникает состояние странного удовлетворения, чтение очищает и как будто впускает свежий воздух в наши самые глубокие страхи и сомнения. Сюжеты романов позволяют нам участвовать в событиях, которые опрокидывают самоуверенность героя, однако впоследствии могут заменить ее чем-то более глубоким, более подлинным, основанным на том, что выше прав обычного себялюбия. Возникающее более глубокое понимание собственного «я» является одним из объяснений того удовольствия, которое мы испытываем при чтении великих русских романов. Какими бы «дикими» они на первый взгляд ни казались, это не романтические мелодрамы, нравящиеся нам тем, что подыгрывают нашим страстям. Если мы готовы следовать за ходом мысли авторов, скрытым в художественном нарративе (в сюжете, говоря в общепринятой терминологии русского формализма), мы завершаем путь с ощущением, что приобрели руководство в своих чувствах и действиях, потому что отчетливее их понимаем.

Достаточно сравнить атмосферу в «Анне Карениной» (1875–1877) Толстого с атмосферой во вполне с ней сопоставимом шедевре европейского реализма «Госпоже Бовари» (1857) Гюстава Флобера, чтобы составить представление о значении субъективности в русском романе и о его следствиях. В обоих романах героиня с именем-эпонимом подчиняется личному демону, следует за ним, куда бы он ее ни вел, и в результате погибает. Обе героини любимы их создателями и, следовательно, читателями, и все же только Анна возвышается до уровня трагической героини, тогда как Эмма остается жертвой среды и собственных заблуждений. Для Флобера имеет цену подлинная наука, представленная знаменитым доктором, который появляется в конце романа – слишком поздно, чтобы спасти Эмму, но он способен сразу оценить ситуацию. Толстой любит Анну как воплощение искреннего чувства, но и относится к ней как к свободному участнику действия, не снимая с нее ответственности за собственную гибель. Только в самом конце жизни Эмма должным образом оценивает преданность ей Шарля. (Она так и не замечает юношеской любви Жюстена, племянника месье Оме.) У Анны, в противоположность ей, не раз по ходу действия возникает возможность прислушаться к голосу совести, борющемуся с другими, более громкими и определяющими ее поведение голосами, но она сознательно не делает этого. (В состоянии нравственного смятения она приходит, оставив мужа, но не требуя развода и страдая от разлуки с сыном, сожительствуя с Вронским.) У нее есть возможность сделать выбор, возвыситься над самым простым – личными интересами и себялюбием, – и, бросаясь под поезд, она все еще обдумывает различные варианты. Даже как существо эмоциональное Анна отличается от Эммы. Органичная для нее любовь к жизни, вспыхивающая в финале, по своей природе нравственна, тогда как для Флобера подобная любовь к жизни внеморальна. Толстой, таким образом, судит Анну более жестко, чем Флобер – Эмму, но при этом в большей степени, чем Флобер, признает ее личностное достоинство и права.

Для всех троих: Тургенева, Достоевского и Толстого – характерно сложное отношение к сфере субъективности, что оказало влияние на все аспекты русского психологического реализма. «Я», которое создают русские реалисты, составлено из вещества, не видимого под микроскопом, и его существование оказывается для нас достоверным только потому, что его мотивирующую власть мы чувствуем в самих себе. Европейский натуралистический реализм Нового времени, тесно связанный с наукой, имеет, напротив, редукционистскую тенденцию, склонность к недооценке или искажению внутренней жизни персонажа. В русском реализме объективирующая дистанция сокращается автором до предела – в результате субъект сохраняет оригинальные «субъективные» внешность и сложность. Проще говоря, минимальные, неразложимые факты, которые подвергает анализу русский автор, шире тех, которые входят в область рассмотрения науки, так как автор рассматривает сферу чувств субъекта с той же степенью серьезности, что и сферу его мыслей и действий. Поскольку у человеческих существ есть прямой доступ только к их собственным чувствам, автобиографичность прозы, которую

мы будем рассматривать, будет в силу этого зависеть от способности автора исследовать самого себя. Защита сферы субъективности поставила уникальную проблему: как русские авторы, так и их читатели должны были до известной степени сопротивляться искушению анализировать то, что им открылось в дивном новом мире психики. В то же время они обязаны были избегать и самолюбивой сентиментальности. Произведения русского реализма должны были стать объективно правдивыми и вместе с тем сочувствующими субъективности.

Русский психологический реализм способствовал созданию основ того, что Лурия первым назвал «романтической наукой», которая признает факты субъективности в той же степени «реальными», как и факты, полученные путем эмпирических наблюдений³¹. Этим объясняется, почему такие мыслители, как Уильям Джеймс в Америке и Зигмунд Фрейд в Вене, признавали свой долг перед ним. Именно поэтому – отвечая на вопрос, поставленный ранее, – люди все еще читают сегодня русские романы. Корни русского психологического романа можно обнаружить и в романтизме: подобно немецким авторам, чей опыт они в этом смысле повторяли, русские реалисты интерполировали в романы анализ и теоретизирование, однако избегали следования системам. Постигание разумно-рациональной сферы русские авторы не предпочитали проникновению в глубину чувств, но рассматривали обе сферы как взаимодополняющие³². Лермонтовский «Герой нашего времени» с его сложной репрезентацией героя, Печорина, во многих смыслах был в этом плане ласточкой, приносящей весну. Как мы увидим в последующих главах, в самой структуре русской психологической прозы субъективность может быть отражена по-разному – как результат различных комбинаций ума и чувства.

³¹ См. Halliwell M. *Romantic Science and the Experience of Self: Transatlantic Crosscurrents from William James to Oliver Sacks*. P. 14–15.

³² О немецком романтизме в этом аспекте см. Engelhardt Dietrich von. *Romanticism in Germany // Romanticism in National Context* / Ed. by K. Porter and M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 109–133.

Глава первая

Личностное сознание в русской литературной традиции, его истоки и национальная специфика

...Рефлексия – наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасенье... Рефлектировать значит по-русски «размышлять о собственных чувствах»³³.

...С внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить³⁴.

* * *

В русской психологической прозе на первый план выходит проблема личностного сознания и его следствий. Этой характерной особенностью она отчасти обязана тому, что представление об индивидуализме оформилось в России под влиянием иностранных образцов. Воспитанные в обществе, предпочитавшем общественное индивидуальному, русские не могли полностью усвоить ту модель поведения, которая их восхищала и которой они подражали, поэтому они наблюдали за собой с некоторой дистанции и с некоторой долей иронии. Как имитация европейских поведенческих образцов, так позднее и ее психологические следствия составили в русской беллетристике широко известную тему. В данной главе я прослеживаю эту тему, начиная с Карамзина, включая Пушкина и Лермонтова и вплоть до Тургенева, Достоевского и Толстого. В конце главы я рассматриваю еще один важнейший элемент, повлиявший на развитие русской психологической прозы, а именно присутствие в интеллектуальной атмосфере 1840-х трансцендентальной мысли и ее роль в формировании понятия личности.

В русской традиции принято считать, что весь процесс привел в движение император Петр Великий. В его планы входила модернизация армии и экономики, но он пришел к осознанию того, что исполнение этих планов потребует изменить и русский народ. Прервавший связь русских с традицией их праотцев, Петр заложил основы национального самосознания – такое мнение высказал Белинский в статье о «Герое нашего времени»³⁵. Разумеется, реформы, о которых идет речь, коснулись лишь незначительной части населения и в итоге привели к отрыву элит от народа, что только обострило проблему самоосознания в образованных слоях общества. Допетровская Русь представляла собой сложившуюся социальную структуру, в которой для каждого человека было определено подобающее место. После революционных изменений, произведенных Петром, достижение социального единства требовало новой формы государственного устройства, и возникла необходимость в идеях и деятелях.

В стремлении модернизировать страну Петр создал из одной Руси две: существовавшая бок о бок со старым общественным укладом, петровская Русь была социальным экспериментом, вызревшим в голове одного человека и продолженным его преемниками³⁶. Важно

³³ Тургенев. Соч. Т. 1. С. 224 («Фауст, трагедия, соч. Гёте»).

³⁴ Начальная страница статьи Герцена «Дилетантизм в науке» (1843) (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 3. М.: АН СССР, 1954. С. 7).

³⁵ Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. Т. 4. М.: АН СССР, 1954. С. 253.

³⁶ Хотя стиль правления Петра и его реформы в свое время представлялись спорными, после его смерти они стали нормой, и все преемники Петра определяли себя реформаторами в петровском духе; см. Whittaker Cynthia Hyla. Russian Monarchy: Eighteenth-Century Rulers and Writers in Political Dialogue. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2003. P. 77, 84, 102.

отметить, что деятельность Петра высоко оценивал Монтескье, а он в свою очередь восхищал Екатерину Великую: французский либеральный философ был сторонником установления просвещенной монархии, легитимность которой зависела как от проводимых реформ, так и от религиозных и династических основ. В скором времени склонность к социальной инженерии проникла во все слои социальных элит, и для честолюбивых, гражданственно мыслящих людей в России Петр стал эталоном. Предпочтение радикальных изменений, санкционированных сверху, а не институциональной эволюции стало в итоге частью русской культуры Нового времени и имело чрезвычайно важные последствия. Даже если целью русских общественных деятелей было возвращение к Московии и старому жизненному укладу, даже если они верили не столько в светскую, сколько в Священную историю и предсказывали апокалипсис, для них возникала необходимость осмыслить пути возврата к этому традиционному укладу. У них теперь был выбор, что в немалой степени способствовало развитию иронии и росту самосознания как национальных особенностей русских образованных элит.

У европейских мыслителей Петр I в общем и целом вызывал восхищение; особым фаворитом он был у Вольтера. Однако Руссо в «Общественном договоре» (1762) высказал предостережение о последствиях социальных катаклизмов и радикальных изменений, предпринятых царем-реформатором. Особые опасения у него вызвало стремление Петра превратить собственных подданных в европейцев, а не в просвещенных русских:

Юность – не детство. У народов, как и у людей, существует пора юности или, если хотите, зрелости, которой следует дожидаться, прежде чем подчинять их законам. Но наступление зрелости у народа не всегда легко распознать; если же ввести законы преждевременно, то весь труд пропал. Один народ восприимчив уже от рождения, другой не становится таковым и по прошествии десяти веков. Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, того, что творит и создаст все из ничего. Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского общества. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого. Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских. Он помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, убедив их, что они были тем, чем они не являются. Так наставник-француз воспитывает своего питомца, чтобы тот блистал в детстве, а затем навсегда остался ничтожеством. Российская империя пожелает покорить Европу – и сама будет покорена. Татары, ее подданные или ее соседи, станут ее, как и нашими, повелителями. Переворот этот кажется мне неизбежным. Все короли Европы сообща способствуют его приближению³⁷.

Негативные последствия, о которых предупреждал Руссо, игнорировались на протяжении столетия после Петровских реформ³⁸. Центром идейной борьбы вместо этого стал вопрос

³⁷ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты/Подгот. изд. В. С. Алексеева-Попова, Ю. М. Лотмана, Н. А. Полторацкого, А. Д. Хаютина. М.: Наука, 1969 (сер. «Лит. памятники»). С. 183.

³⁸ В 1836 году П. Я. Чаадаев опубликовал свое знаменитое «Философическое письмо» с пессимистическим взглядом на Россию, сложившимся, вероятно, не без влияния критики Руссо; после публикации император Николай I объявил Чаадаева сумасшедшим и в течение года содержал его под домашним арестом. Признав Россию страной, не имеющей ни истории, ни культуры, Чаадаев, однако, спустя год в «Апологии сумасшедшего» от этого мнения отказался. Теперь он утверждал, что именно благодаря высокой способности к подражанию и отсутствию исторического багажа Россия смогла воспринять идеи всех существовавших до нее народов, отобрать и синтезировать лучшие из них. В гегелевской исторической диалектике Россия

о том, кто вернет (или возродит) отвергнутый Петром сценарий. Петр и его преемники сохраняли абсолютистскую форму правления – в этом отношении они повторяли своих предшественников, – и лишь благодаря философии, а затем литературе российские элиты познакомились с западными идеями политического устройства и свободы личности. Благодаря литературе русские за несколько десятилетий продвинулись к новым для них представлениям и понятиям, которые в Англии и Франции складывались веками.

находилась в позиции замыкающей, и, согласно идеям нового мессианства, принявшего после Чаадаева различные формы, ей было предопределено духовно править Европой не с позиции силы, а на основе согласия. Глубокое изложение идей Чаадаева см. Лосский Н. О. История русской философии. М.: Сов. писатель, 1991. С. 50–55; Walicki Andrzej. The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought / Transl. by Hilda Andrews-Rusiecka. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1987 (ch. 3).

Карамзин

В условиях позднего XVIII и XIX веков в эти новые представления входила задача создания новой индивидуальности без поддержки со стороны официальных социальных или политических институтов, за исключением прессы. Поэтому такое важное значение имело масонство с его доктриной индивидуального самосовершенствования. Николай Михайлович Карамзин был индивидуальностью, воспитанной этой доктриной. Потомок кавказского князя Кара-Мурзы, принявшего христианство, чтобы поступить на службу к русскому царю, он вырос в Поволжье, в среде провинциального дворянства, где высоко ценилось образование и еще выше – гражданская служба без сикофантской преданности государям, ожидаемой от придворного дворянства. В юности, в 1779 году, он переселился из родового имения под Симбирском в Москву, где продолжил образование. Карамзин был человеком лингвистически одаренным, он быстро усвоил три языка (немецкий, французский и в меньшей степени английский) и много читал на всех трех. Начиная с 1785 года, он провел четыре года в Москве под опекой известных масонов, после чего отправился в европейское путешествие, имея в виду продолжение занятий, но также искусно декларируя свою независимость от учителей³⁹.

Первая значительная прозаическая работа Карамзина стала итогом этой поездки: его «Письма русского путешественника» предоставили нескольким поколениям русских читателей возможность совершить воображаемое путешествие по Европе. Эта книга по-прежнему вызывает интерес: по ней мы можем составить представление о менталитете образованного русского в конце XVIII столетия, она также интересна описаниями стран и людей. Карамзин путешествовал по Германии, Швейцарии, Франции и Англии и встречался с такими светилами, как Иммануил Кант и Иоганн Готфрид Гердер. В Швейцарии он благоговейно посетил места, связанные с его кумиром Руссо. Важнейшим для нас в свете поставленных нами задач является акцент на *чувствах* молодого путешественника; исследователи творчества Карамзина сходятся во мнении, что образцом для него послужило «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Лоуренса Стерна. Как ученик Руссо, Карамзин понимал, что для действительной модернизации России необходимы изменения, которые затронут не только социальные институты, но, что еще важнее, людей⁴⁰. Свой вклад в модернизацию страны он внес как литератор.

Карамзин мало известен неспециалистам за пределами России, но именно он стоял у истоков русской психологической прозы. В 1792 году, до публикации в полном объеме своих «Писем...» и, очевидно, как часть этого сентименталистского проекта, Карамзин издал повесть «Бедная Лиза». Молодой повеса Эраст встречает красивую крестьянскую девушку Лизу; после непродолжительной моральной борьбы он уступает страсти и обольщает Лизу. Женитьба в данном случае не предусматривалась, и Эраст находит выход из сложившейся ситуации, присоединившись к армии. Однако, вместо того чтобы отличиться на поле битвы, он проигрывает свое состояние в карты, после чего женится на богатой вдове. Бедная Лиза топится в пруду.

Повесть имела успех среди читателей как низших, так и высших классов. Ю. М. Лотман приводит пример (и исследует его) реакции на повесть в беседе «мастерового» и «мужика», подслушанной в 1799 году А. Ф. Мерзляковым⁴¹. Разговор происходит около пруда, в котором,

³⁹ Я заимствую все эти сведения из биографии Карамзина авторства Ю. М. Лотмана, где также отмечено, что Карамзин уехал за границу с одобрения своих учителей, так как начались правительственные преследования масонов, и особенно наставника Карамзина Н. И. Новикова. См. Лотман Ю. М. Карамзин. Сотворение Карамзина: статьи и исследования, 1957–1990. Заметки и рецензии. СПб.: Искусство-СПб, 1997. С. 39–42.

⁴⁰ В. В. Зеньковский в «Истории русской философии» подчеркивает огромное влияние Руссо на Карамзина («Карамзин поклонялся Руссо “энтузиастически”...») и цитирует его высказывание: «...мы любим Руссо за его страстное человеколюбие». См. Зеньковский В. В. История русской философии. Л.: Эго, 1991. Т. 1.4. 1.С. 138, 140.

⁴¹ См. Лотман Ю. М. Об одном читательском восприятии «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина (К структуре массового сознания XVIII в.) // Лотман Ю. М. Карамзин. С. 617–620. А. Ф. Мерзляков происходил из скромной купеческой семьи; ко времени

по преданию, утопилась Лиза. Собеседники вносят в сюжет повести изменения, приближая ее к традиционным жанрам, и в то же время мы наблюдаем, как под ее влиянием эволюционируют сами эти традиционные жанры. Беседующие воспринимают историю Бедной Лизы как «быль» – в противоположность сочиненным произведениям, например сказке, – но их восхищает и поэтический пейзаж у Карамзина, не характерный для традиционного народного «реализма»⁴². На высокую культуру повесть также оказала исключительно сильное влияние, вызвав сначала широкую волну подражаний, позднее – пародий.

И Пушкин, и Достоевский читали «Бедную Лизу» как часть национального прозаического наследия и, как позднее другие великие писатели, включали упоминания о ней в свои тексты, отдавая дань впечатлению от чтения. Юную героиню «Пиковой дамы» (1834) Пушкина зовут Лизой; так же зовут героиню «Дневника лишнего человека» Тургенева, брошенную ее князем; и то же имя носят героини, преданные мужчинами, которых они любят, у Достоевского в «Записках из подполья» и «Бесах». «Бедная Лиза» изменила сознание ее читателей. Хотя Карамзин адресовался к «сентиментальному» читателю, но его читатели таковыми не были. «Бедная Лиза» помогла *сделать* их сентиментальными, что и входило в авторскую задачу.

С одной стороны, язык повести был намного ближе разговорному русскому языку, чем в предшествующей прозе XVIII века, что помогало преодолеть разрыв между языком и сферой чувств. Сентиментальная французская цветистость в текстах Карамзина, кажущаяся в наши дни риторической, поразила его первых читателей именно своей естественностью в сравнении с церковнославянизмами, которые она была призвана заменить⁴³. По словам Белинского в его цикле статей о Пушкине, созданном в 1840-х и имевших огромное влияние, «Карамзин первый на Руси заменил мертвый язык книги живым языком общества»⁴⁴.

Во-вторых, статус повествователя в повести был изменен не менее радикально, чем язык; повествователь приглашает читателей к сочувствию Лизе: «...и крестьянки любить умеют!» Ставя себя на место Лизы, читатель должен был обратиться к собственным чувствам и обнаружить их в другом человеке, с которым в обычной ситуации отождествить себя не мог. Этот акт воображения должен был не только пробудить в читателе эмпатию, но и способствовать осознанию им собственных переживаний. (Для Карамзина предпочтительным или подразумеваемым читателем была читательница.) Эмпатия располагает нас к объективации собственных чувств, чтобы иметь возможность приписать их другому. В соответствии с требованиями сентиментального субъективизма сам повествователь у Карамзина в значительной степени индивидуализирован, он проявляет личное отношение к предмету повествования и обращается непосредственно к конкретному читателю, а не к читателям вообще⁴⁵. Для общества с общинной структурой, каковой большая часть России и оставалась в XVIII веке, вторичный результат сопереживания состоял в том, что в читателе или читательнице росло сознание собственных прав. Конечно, то, что я описываю, является результатом воздействия сентиментализма в целом, но аудитория Карамзина этого не знала. Эффект сопереживания, заложенный в «Бедной Лизе» как произведении сентиментализма, так сильно воздействовал на русских читателей потому, что передавался им на их собственном языке.

В то время, когда двадцатидвухлетний Мерзляков подслушивал разговор двух простолюдинов, сам он прислушивался к «каждой березе» и «разговору ветров», «оплакивающих

рассказанной им истории его имя было связано с Московским университетом (с 1798 года), где позднее он занимал кафедру профессора русской литературы. Он был блестящим лектором и влиятельным педагогом, среди его многочисленных учеников были Чаадаев и Лермонтов.

⁴² Там же. С. 618–620.

⁴³ Об объеме и границах важнейших языковых реформ Карамзина см. Виноградов В. В. История русского литературного языка: Избранные труды. М.: Наука, 1978. С. 49–51.

⁴⁴ Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 132.

⁴⁵ См. Hammarberg G. From the Idyll to the Novel: Karamzins Sentimentalist Prose. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 4–6, *ami passim*.

участь несчастной красавицы». По отрывку его письма, опубликованному Лотманом, нельзя с уверенностью сказать, не скрыта ли в его словах ирония, но очевидно, что он находился под сильным впечатлением от повести, прочитанной им раньше или незадолго до рассказанной истории. Определив конкретное место действия повести под Москвой, Карамзин посеял в российскую почву иностранные семена сентиментализма, и с тех пор в умах читателей «Бедной Лизы» эти места ассоциировались с созданными автором повести новыми мифами, рассчитанными на принятие публики. Эту технику Карамзин, возможно, заимствовал у Руссо, выбравшего определенную местность в Швейцарии для событий своего романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1762), куда его поклонники благоговейно приезжали как к святыне в память о трагической любви Юлии и Сен-Пре.

Последним рубежом, который предстояло завоевать в процессе модернизации России, была внутренняя жизнь отдельного человека, и литература в достижении этой цели сыграла значительную роль. Молодые русские дворяне XVIII века не только подражали европейской моде и говорили на иностранных языках – они сверх того подражали и героям переводных английских, французских и немецких книг. Переводы иностранной литературы были на рубеже XIX века настолько популярны, что, к примеру, для большего сходства отечественных произведений с переводными авторы буквально пропитывали их иностранными словами, хотя существовали вполне подходящие русские эквиваленты⁴⁶. Так же, как подростки в позднесоветской России представляли себя западными рок-звездами, подростки конца XVIII века подражали Ловеласу, Клариссе или Вертеру. В этой атмосфере «Бедная Лиза» стала сенсацией, стандартный европейский сюжет был перемещен на русскую почву и нашел средства выражения на русском языке.

⁴⁶ Лотман Ю. М. Пути развития русской прозы 1800-1810-х гг. // Лотман Ю. М. Карамзин. С. 350–351.

Пушкин

В России почитают Пушкина как величайшего национального писателя. Хотя он был прежде всего поэтом, можно предположить, что главная его цель состояла в создании национальных образцов во всех литературных родах и жанрах. Он написал роман в стихах «Евгений Онегин» (1823–1830), роман в манере Вальтера Скотта «Капитанская дочка» (1834–1836), готическую повесть «Пиковая дама» (1834) и «Повести Белкина» (1831). Каждое из названных произведений оказало исключительно сильное влияние на русскую прозу, и каждое по-своему закладывало основу для оформления проблемы личностного сознания как приоритетной проблемы в литературе.

В «Повестях Белкина» раскрыт эффект воздействия на русских читателей иностранной литературы, к тому моменту входившей в их круг чтения на протяжении нескольких десятилетий. В четырех из пяти повестей цикла присутствуют персонажи, подражающие героям иностранных книг⁴⁷, и, пожалуй, именно Пушкин создал самый содержательный отчет об этом явлении. Вот что повествователь в «Метели» сообщает о героине повести:

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны⁴⁸.

Воображение амбициозного молодого прапорщика, возможно, было менее «романтическим» и более озабоченным деньгами и положением возлюбленной, чем воображение Марьи Гавриловны. Тем не менее он не принадлежит к числу тех, кто добивается успеха, соблазнив девушку и приобретя ее состояние, – он погибает, став участником Наполеоновских войн. На следующем сюжетном витке Марья Гавриловна, за которой ухаживает другой молодой человек, ждет его в саду, «у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа». Она предполагает, что ей будет сделано предложение, но слышит от своего поклонника речь, которая начинается так:

«Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать

⁴⁷ Пятая повесть – «Гробовщик» – отразила влияние на ее героя популярных готических рассказов, преимущественно иностранного (но не только) происхождения. Действие в ней происходит в онемеченной среде московских ремесленников и торговцев, но ее главный герой – русский.

⁴⁸ Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Л.: Наука (Ленингр. отд.), 1978. С. 70.

вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux).
«Теперь уже поздно противиться судьбе моей...»⁴⁹

И Марья Гавриловна, и Бурмин разыгрывают роли, даже когда участвуют в комедии ошибок, кульминацией которой становится их брак, и только на этом этапе, как можно предположить, заканчивается их литературное актерство – так случилось и у родителей Марии. Пушкин открывает читателю, что исполнение роли может быть частью реальной жизни и в данном случае частью приобретения опыта и знаний молодыми людьми, перерастающими в итоге те литературные сюжеты, в которые они на время погрузились. В драматическом, а не в комическом свете та же ситуация представлена в «Евгении Онегине»: его героиня Татьяна Ларина также наделена литературным «романтическим воображением», создающим для нее серьезные проблемы, когда Онегин, которого она воспринимает как героя романа (какого именно, она не уверена) появляется в имении ее родителей. Игра воображения увлекала и мать Татьяны, читательницу английских романов Сэмюэля Ричардсона, однако она через этот опыт прошла без потерь, устроив жизнь русской провинциальной дворянки и не сожалея ни о своем прошлом, ни о браке с ничем не примечательным отцом Татьяны. В отличие от матери (и, возможно, от героини «Метели») Татьяна не находит ни счастья, ни даже малой доли удовлетворения в той жизни, которая устраивает ее мать. Сначала она влюбляется в Онегина, но он отвергает ее; позднее, когда в Петербурге она становится светской дамой и женой влиятельного генерала, Онегин начинает испытывать к ней сильное чувство. Татьяна признается, что по-прежнему любит его, но на этот раз уже она отказывает ему – по причине как чувства долга перед мужем и обществом, так и более глубокого понимания его недостатков.

Подражание романтической героине у Татьяны не поверхностно: романы, которые она читает, приводят к внутренним изменениям, незнакомым ее матери. В то же время Пушкин дает происходящему с ней еще одно – естественное – объяснение: «Пора пришла, она влюбилась» – и демонстрирует, что чтение романов только усилило, подтвердило, сделало достоверными ее естественные желания. В результате этого литературного процесса парадоксальным образом возникает «настоящая» героиня, чья судьба, как замечает Ю. М. Лотман, не повторяет ни одного литературного стереотипа⁵⁰.

Несмотря на центральную роль Татьяны в пушкинском романе в стихах, «Евгений Онегин» не мог быть назван именем героини. В романе данного типа эпонимический герой, Онегин, полностью выражен собственным эго: сначала он отвергает Татьяну, затем добивается ее, и его желания составляют, похоже, его единственную мотивацию, помимо гордости в различных ее проявлениях. В отличие от Татьяны мы больше знаем о том, кем не является Онегин, чем о том, кто он на самом деле⁵¹. Он утратил связь с природными ритмами, которые Татьяна любит и которые заставляют ее влюбиться – раз и навсегда – в Онегина. Ответственны за эту утрату в какой-то мере его круг чтения и среда – в его кабинете Татьяна находит, кроме «двух-трех романов» и поэм Байрона, портрет английского поэта и бюст Наполеона, – но Пушкин не ставил перед собой задачу объяснить Онегина. У нас нет никаких убедительных доказательств, что чтение глубоко на него повлияло. Лишенный ролей, которые он мог бы исполнять, «современный человек» Онегин присутствует у Пушкина как загадка. По мнению Уильяма Тодда, Пушкин не был заинтересован во всестороннем изображении «частного человека», и представление о такого рода авторской задаче выглядит анахроничным. Вместо этого, считает Тодд, в Онегине представлен светский человек, «*honnête homme*» («порядочный человек»),

⁴⁹ Там же. С. 79.

⁵⁰ Лотман Ю. М. Человек в пушкинском романе в стихах // Лотман Ю. М. Пушкин: биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: комментарий. СПб.: Искусство-СПб, 1995. С. 452–453.

⁵¹ См. об этом: Todd W. M. *HI. Fiction and Society in the Age of Pushkin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986. P. 116.

который может казаться фрагментарным с постромантической или религиозной точек зрения, согласно которым герой обязан быть всем для всех. В разных ситуациях герой должен выступать под разными масками – этой идее мир Пушкина полностью соответствует⁵².

⁵² Todd W. M. HI. Fiction and Society in the Age of Pushkin. P. 33–37.

Лермонтов

В конце романа Онегин оказывается неспособным к самоограничению, на которое способна повзрослевшая Татьяна, что в большей степени располагает читателя к героине, чем к герою. Хотя в последней главе мы видим Онегина глубоко осмыслившим собственное прошлое и в одной из сцен романа-поэмы он осуждает свои прежние поступки – и убийство Ленского, и свое нежелание соединить судьбу с Татьяной, когда она ему это предлагала, – для нашей темы наибольшее значение имеет то, что Онегин себя не изучает. Психологические наблюдения в «Евгении Онегине» (и других прозаических произведениях Пушкина), столь же тонкие и проницательные, как и в любом русском романе, происходят преимущественно на уровне повествователя и автора. Как мы увидим в главе 2, в этом отношении последователем Пушкина был Тургенев, считавший, что открытый психологический анализ с позиции повествователя антихудожественен и что только для определенного типа героев – обладающих самосознанием, как например Фауст или Гамлет, – такой анализ применим и не вносит искажений в их внутреннюю жизнь.

Лермонтовский Печорин, герой первого в России психологического романа, стал также первым героем, способным к саморефлексии⁵³. По словам Белинского, «наш век есть по преимуществу век рефлексии»⁵⁴, и Печорин назван «героем нашего времени» потому, что служит этому примером. Чтобы подтвердить свою точку зрения, Белинский прямо указывает на лермонтовский текст – на исповедь Печорина доктору Вернеру в «Княжне Мери»:

Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, может быть, чрез час протитится с вами и миром навеки, а второй... второй?...⁵⁵

Белинский следующим образом комментирует этот фрагмент: «...в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем»⁵⁶. Критик создает психологическую генеалогию рефлексии, прослеживая ее от *Гамлета* («поэтический апофеоз рефлексии») до *Фауста* («поэтический апофеоз рефлексии нашего века») и Пушкина, который в «Сцене из Фауста» (1825), можно сказать, ввел в русскую литературу психологический принцип рефлексии⁵⁷. Об этом стихотворении Белинский писал:

Дивно художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии, как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее характер – апатическое охлаждение к благам жизни, вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда: томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределенность желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни⁵⁸.

То, что Белинский определяет теперь как симптомы рефлексии, предшествующие поколения называли *хандрой*, *ипохондрией*, *мнительностью*, *сомнением*⁵⁹. Одомашнивая это ино-

⁵³ Ibid. P. 142, 160–161.

⁵⁴ Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 4. С. 254.

⁵⁵ Там же. С. 252.

⁵⁶ Там же. С. 253.

⁵⁷ Там же. С. 253–254. Белинский не упоминает «Исповеди» Руссо, хотя признание Печорина очень близко признанию героя «Исповеди», которое я цитирую в главе 7.

⁵⁸ Там же. С. 254.

⁵⁹ Там же. С. 253. Возможно, Белинский имеет в виду «Евгения Онегина».

странное заимствование, соотнося его с более ранними понятиями (некоторые из них, однако, также являются узнаваемо заимствованными и связаны с байронизмом), Белинский дает историко-социологическое объяснение его появлению в России, утверждая, что оно распространилось с тех пор, как при Петре Великом в стране произошел разрыв с национальными корнями и традициями, результатом чего и явилось повышенное внимание русских к проблеме собственной идентичности. Каким бы гиперболизированным (и анахроничным) ни казалось суждение Белинского, оно иллюстрирует то новое знание о психологических крайностях рефлексии и порождаемой ею романтической иронии, которое открыл в русской прозе Лермонтов⁶⁰. «Болезнь» рефлексии «я» стала общей темой в русской прозе 1840-х.

⁶⁰ Подробнее о рефлексии см. в главе 7.

Тургенев

Мать Татьяны Лариной справляется со своей девической страстью к романам Ричардсона, однако не запрещает Татьяне их читать. Ко времени появления в печати произведений трех крупнейших создателей русской психологической прозы – Тургенева, Достоевского и Толстого – в воспитании детей родители следовали иностранным моделям в меру своего понимания этих моделей. В тургеневском «Дворянском гнезде» (1859), к примеру, отец главного героя ведет жизнь английского джентльмена:

Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну – всё в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом⁶¹.

Отец воспитывает сына на английский манер. Однако, старея, он во всем возвращается к образу жизни провинциального дворянина. В понимании Тургенева отец Лаврецкого никогда джентльменом не был – вся его жизнь оказалась спектаклем, разыгранным прирожденным степным помещиком.

Между тем воспитание отца-англomана производит серьезные изменения в молодом Лаврецком, герое романа⁶².

Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же, наконец, он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходитья с людьми; двадцати трех лет от роду, с неукротимой жадой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здоровом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении... И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе⁶³.

Результатом такой системы воспитания становится женитьба наивного Лаврецкого на показавшейся ему привлекательной девушке и жизнь с женой в Париже, где она ему открыто изменяет. В тот короткий период, когда он вернулся на родину и получил известие о смерти жены (оказавшееся ложным), с которой к тому времени жил раздельно, Лаврецкий полюбил юную, религиозно настроенную девушку. Он едва успевает объясниться в любви своей Лизе, а она – ответить взаимностью, как в городе объявляется его жена. Лиза уходит в монастырь; Лаврецкий, хотя и стал хорошим хозяином («действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян»), ощущает себя «одиноким, бездомным странником»⁶⁴. Он не стал «спартанцем» или «англичанином»,

⁶¹ Тургенев. Соч. Т. 6. С. 38.

⁶² Наставник Лаврецкого – швейцарец, источник этого мотива Ю. М. Лотман видит в «Моей исповеди» Карамзина. См. Лотман Ю. М. Пути развития русской прозы 1800-1810-х гг. С. 386.

⁶³ Тургенев. Соч. Т. 6. С. 43.

⁶⁴ Там же. С. 157.

как хотел его отец, но в отличие от здоровых молодых людей в пушкинских «Повестях Белкина» последствий образования ему избежать не удалось.

Помимо актерствующих персонажей, как отец Лаврецкого, помимо самого Лаврецкого, ставшего жертвой лоскутного европейского образования, Тургенев описывает и тех, кто подпадает под влияние харизматической личности, исповедующей либо западнические, либо традиционалистские идеи («Рудин», «Накануне», «Фауст», «Странная история»). В «Фаусте», например, повествователь рассказывает, как когда-то ухаживал за девушкой, которую мать всю жизнь держала в изоляции и препятствовала свадьбе молодых людей. Ко времени действия рассказа относится его новая встреча с той же девушкой, вышедшей замуж за приземленного помещика. Рассказчик сближается с супружеской четой, героине повести он читает «Фауста» Гёте, и это чтение пробуждает в ней природные эмоции, которые ее мать, теперь уже покойная, стремилась подавить. Между героями возникает влюбленность, молодая женщина заболевает и умирает, рассказчик завершает свою историю (в форме писем к другу) моралью, провозглашающей превосходство долга над страстью. Особое значение в этой повести приобретает поразительно сильное воздействие на героиню великой поэмы Гёте. Романтическая литература ломает стены, тщательно возведенные матерью для защиты дочери. «Фауст» – тургеневская вариация на все более актуальную в России тему влияния литературы на формирование личности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.